А. В. АМФИТЕАТРОВ

Избранное

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

«Когда Н. С. Гумилева арестовали, никто в петербургских литературных кругах не мог угадать, что сей сон означает. Потому что, казалось, не было в них писателя более далекого от политики, чем этот цельный и самый выразительный жрец „искусства для искусства“. Я не верил и продолжаю не верить в причастность его к тому заговору, за мнимую связь, с которым он расстрелян, – к так называемому „таганцевскому“. Здесь он был ни при чем – я имею к этому утверждению вполне определенные основания, – как ни при чем было и большинство из 61 расстрелянных по этому плачевному делу, если только вообще был в нем кто-либо при чем, начиная с самого Таганцева…»

- Александр Валентинович Амфитеатров
  - ○

Александр Валентинович Амфитеатров
Часовой чести
Мое участие в «заговоре» с Гумилевым

Когда Н. С. Гумилева арестовали, никто в петербургских литературных кругах не мог угадать, что сей сон означает. Потому что, казалось, не было в них писателя более далекого от политики, чем этот цельный и самый выразительный жрец «искусства для искусства». Я не верил и продолжаю не верить в причастность его к тому заговору, за мнимую связь, с которым он расстрелян, – к так называемому «таганцевскому». Здесь он был ни при чем – я имею к этому утверждению вполне определенные основания, – как ни при чем было и большинство из 61 расстрелянных по этому плачевному делу, если только вообще был в нем кто-либо при чем, начиная с самого Таганцева. Вообще же Гумилев не только был способен «быть заговорщиком», но и хотел им быть – страстно искал заговора, к которому стоило бы примкнуть, и с твердостью шел навстречу каждой попытке контрреволюционного действа, имевшей хоть тень правдоподобия.

В ОДНОЙ ИЗ ТАКИХ НЕ СОСТОЯВШИХСЯ попыток мы оба участвовали, и открыл ее существование Гумилеву и привлек его к ней я по определенному расчету, что он, как бывший офицер, имея большое знакомство в офицерских кругах и пользуясь в них симпатией и влиянием, возьмет на себя организацию боевой подготовки. Он был в восторге, горячо меня благодарил и сейчас же наметил и предложил ввести в заговор еще одно лицо, близкое к «Всемирной Литературе», где мы обыкновенно встречались.

Человек этот – очень умный, солидный, ученый, как будто с большим характером, на словах отъявленный враг большевиков (включительно до благословения на террор), вообще, симпатичный и со всею видимостью «настоящего парня» – казался подходящим и мне. Сошлись втроем и объяснились. Говорил Гумилев, я лишь вносил поправки, когда он ошибался. Человек наш выслушал очень внимательно, с заметным волнением, бледный, – потом, минутку подумав, сказал:

– Господа, благодарю вас за доверие, расстроган им. Проекту вашему сочувствую всею душою и нахожу его вполне осуществимым. Больше скажу: это как раз то, о чем я сам не раз думал и что предложил бы к организации. Но принять участие,

простите, не могу. К стыду моему, – сочувствуя, веруя, желая, – все-таки не могу. И не могу именно по симпатии к предприятию, я испортил бы все дело. Признаюсь вам совершенно откровенно: я трус. Наружность у меня такая, что кажется, могу быка с ног свалить, голова – как будто логическая, рассудочная, мыслю правильно, говорю храбро, но – чуть надо действовать, никуда не гожусь: отвратительный физический трус! Вот и сейчас: я только узнал, что есть нечто вроде заговора в близком мне кругу, – и посмотрите вы на меня: хорош? И руки-ноги похолодели, и в животе спазмы… А если я, пойдя на отчаянность, возьму в заговоре ответственную роль, тогда что?

– Что же? По крайней мере, честно, – холодно «резюмировал» Гумилев.

Честно-то оно честно, – доноса «физический трус» не сделал и, вообще, сумел держать язык за зубами, чему, может быть, именно «физическая трусость» – то и способствовала: окаменелое лицо и недвижный взгляд Гумилева, упертый прямо в лицо, должны были хорошо запомниться слабожелудочному горемыке. Но впоследствии, когда Гумилев был уже под землею, а я в далекой эмиграции, наш «физический трус» отлично поладил-таки с большевиками и устроился при них в своей ученой части с совершенным удовольствием, имя его мелькало даже в заграничных командировках, в которые, как известно, ГПУ малонадежных своих поданных не пускает. Гумилев был человек большой храбрости и присутствия духа, закаленных и в ужасах великой войны, и в диких авантюрах сказочных африканских пустынь. Такому беспокойному человеку под бурей смутного времени как не быть заговорщиком?

Прибавьте к этому прямолинейную убежденность – своеобразный «холодный фанатизм», не способный к гибкости, бесстрашный в поведении. В обществе товарищей – республиканцев, демократов и социалистов – Гумилев без опасения за свою репутацию громко провозглашал себя монархистом. В обществе товарищей атеистов-богоборцев, вольнодумцев, не смущаясь насмешливыми улыбками, носил на груди большой крест-тельник и крестился на все церкви. Как-то раз я заметил ему – помню, у церкви св. Симеона на углу Моховой, – что подобные демонстрации благочестия, пожалуй, излишни: вызывающе привлекают внимание прохожих, а по существу, бесполезны. Он возразил:

– Надо, чтобы толпа видела, что не вся интеллигенция отстала от Бога и боится Его исповедать. И, кроме того, ведь на лице у меня не написано, кто я таков, а я не хочу, чтобы меня хоть на минуту, случайно, принимали за большевика.

Принять его на улице за большевика, впрочем, было трудно – уже по курьезной шубе его, единственной во всем Петербурге, из какой-то полосатой звериной шкуры, происхождения африканского или дальневосточного, не знаю, но несомненно, экзотического.

Религиозность Гумилева производила на меня сильное впечатление. Тому, конечно, много способствовала ее необыкновенность в молодом человеке поколения, так называемого «предреволюционного», и надо правду сказать, довольно-таки беспорядочного именно в направлении религиозно-этическом. Мы говорили об этом. Гумилев сказал большое слово:

– я не понимаю, как человек, переживающий революцию, может оставаться без Бога. То есть я не в том смысле, чтобы, как принято, «искать Бога». Что же искать, когда мы Им настигнуты и каждую минуту чувствуем себя в Его руке? Поздно. Он сам нас нашел.

История его расстрела темна. Что арестовали его не как заговорщика, тем более опасного, важного, достойного расстрела, есть прямое доказательство. Когда депутация Профессионального Союза Писателей отправилась хлопотать за Гумилева, председатель ЧК не только не мог ответить, за что взят Гумилев, но даже не знал, кто он такой.

– Чем он, собственно, промышляет, ваш Гумилевич?

– Не Гумилевич. Гумилев.

– Ну?

– Он поэт.

– Не слыхал. Наведу справки, зайдите через недельку.

– Да за что же он арестован?

Чекист подумал и… объяснил:

– Видите ли, так как теперь за свободою торговли причина спекуляции исключается, то, вероятно, господин Гумилевич влип за какое-нибудь должностное преступление.

Над удивительным свиданием и разговором с чекистом много было смеха: никто не предчувствовал, что смех будет прерван ружейным залпом, который опозорит русскую землю, заставив ее еще раз, – который это уже, о Боже милосердный?! – впитать в себя «поэта праведную кровь…».

И десять лет тому назад я был и теперь остаюсь при той догадке, что, по всей вероятности, Гумилеву на допросе поставлен был прямой вопрос о политических убеждениях, а Гумилев, не прибегая к спасительным обинякам, прямо и ответил.

Если же следователь умел задеть его самолюбие, оскорбил его тоном или грубым выражением, на что эти господа великие мастера, то можно быть уверенным, что Николай Степанович в ту же минуту ответил ему по заслуге – с тою мнимо холодною, уничтожающею надменностью, которая всегда проявлялась в нем при враждебных столкновениях, родня его, как некий пережиточный анахронизм, с дуэлистами-бретерами «доброго старого времени» эпохи Долохова, Толстого-Американца, Печорина. Ну а в ЧК и ГПУ строптивцам подобного закала пощады не было.

Даже в списках смертников «Правды» Гумилев обозначен был, как «Гумилев, поэт». Это выразительно хорошо верно. Гумилев и почитал себя, и был поэтом не только по призванию, но и, так сказать, по званию. Когда его спрашивали незнакомые люди, кто он таков, он отвечал: «я поэт» – с такой простотою и уверенностью официальной обычности, как иной обыватель говорит: «я присяжный поверенный», «я офицер». Поэзия была для него не случайным вдохновением, украшающим большую или меньшую часть жизни, но всем ее существом. Поэтическая мысль и чувство переплетались в нем, как в древнегерманском мейстерзингере, со стихотворным ремеслом: недаром же одно из основанных им поэтических товариществ получило имя-девиз «Цех поэтов».

В воспоминаниях о Гумилеве попадаются намеки или даже прямые указания на то, что эта важная серьезность его, статуарность, жречество отдавали наигранностью: он де все задавал себе роли и добросовестно их играл, я думаю, что когда роль играется постоянно, добросовестно, искренне, до слияния с жизнью, переходя в жизнь и даже до господства над жизнью, то, полно, надо ли ее отделять от жизни в особость, не есть ли она уже и самая жизнь?

13 сентября 1937 г.